

Валентина Силантьева

Вадим Смеляков и Валерия

Фрагмент из повести

Фрагмент этого текста обращает читателя к одесситам, юность которых совпала со временем тех перемен, которых опасаются, страшатся и люди, и целые страны. Героями повести стали выпускники школы, а потом уже повзрослевшие Лера-Валерия и Вадим, который гордился своей фамилией Смеляков и считал, что она – предначертание его судьбы. Свою первую любовь он отдал девочке Лере, которая в детском саду заплакала потому, что нянечка нечаянно оторвала лепесток большой бумажной ромашки. Лерка-Ромашке-Больно стало ее кличкой. Неожиданно для себя Вадим понял, что эта девочка, а потом девушка, есть и останется в его жизни символом той чистоты, которую не могут убить ни горе, ни война, ни его и ее растерзанные судьбы. О том, как живут и что чувствуют молодые люди сегодняшнего дня, – эта повесть. А предложенная читателю малая ее часть знакомит с героями, которые еще так часто встречаются в нашем приморском красивом городе.

Лера шагала по жизни непарадными тропами. И потому что время казнило безденежьем и безработностью. А еще и потому, что голодное детство и юность награждают комплексами неполноценности. Вся и отрада – она рано научилась учиться; библиотека, собранная родителями в советские времена, пригодилась. На корешках «Всемирки» она любила отличать крылатого Пегаса, и ей, девчонке, долго-долго казалось, что это существо, родившись у истоков Океана, и действительно связывает все живое и красивое в мире. Не случайно же Пегасу разрешили взлететь на Олимп. Не случайно же на корешке ее любимых книг рисуют его летящим над всем земным шаром.

В отцовском свитере, надетом поверх своего, и закутавшись в одеяло «с пролысынами», она устраивала подобие берложье-го царства на старой тахте. Если вчитывалась и входила в чужой мир, как в свой, то осенне-зимняя «хрущовка» уже не казалась убогой, а перспектива бедняцкого ужина не угнетала своей безысходностью. Но приходила замученная-перезамученная мама, из инженерного состава перешедшая в разряд «торговых работников» толкучки. Серо-зеленое лицо появлялось в дверном проеме Валериной комнаты, не сказав ни слова, мама шла на кухню. Бочком садилась у стола, внедренного в крайне малое здешнее пространство, и долго сидела в тишине. С какого-то времени, отметила Лера, ее склоненная над столом фигура стала похожей на стожок плохо высушенной травы. Однажды Лера увидела беззвучные слезы на мамином лице, они скатывались к подбородку и прятались в так и не снятом сером шарфе. Отец был в очередном рейсе, и откуда им было знать, что судно арестовано, болтается в чужих водах, а команда так же голодает и перебирает мешочки с крупой, как и они на своей земной тверди. Безрадостно приближался новый век и новое тысячелетие.

Впервые словом «лохушка» ее пригвоздили в седьмом классе. Она не сразу и поняла, что это словцо адресовались именно ей. Оглянулась. Приподняла бровь в невысказанном вопросе. Наступала Настя-шпора. Размахивая длиннющим хвостом пестро вывязанного шарфа, она кривлялась и предлагала заклеить позором дешевенькие джинсы и хилый свитер Леркиного школьного наряда:

– Слышь, ты, лохушка с пропиской «Чумка», нечего тут глаза мозолить. Вали отсюда на последнюю парту.

– Мы с Сашей уже второй год сидим вместе, а он плохо видит...

– С Сашкой теперь сяду я, а ты – ноги в руки и шагай...

Конец шарфа, завязанный в узел, раскачивался по амплитуде большого диаметра. Он задевал то ее плечо, то едва заметную грудь. Кто-то сгреб ее тетради-ручки с парты, портфель уже полетел в дальний угол. Вошел Саша. Невысокий, в очках, но крепко. Лере казалось – вот сейчас он заступится за нее и окоротит обидчицу. Нет, он почему-то засмеялся и сказал: «А правда, давай,

переселяйся». Повернулся к Насте и, подхватив ее красиво-яркий шарф, отвел хозяйку положения к столу, где они еще вчера как бы «дружили» с Лерой. Класс гоготнул, Лера собирала разбросанные линейки-карандаши. Уйти, хлопнув дверью, не хватило сил.

«Лохушка» казнила ее своим невнятным содержанием. Это слово только входило в юношеский обиход, и Лера все пыталась разобраться: лохушка равнозначна лохматке, что ли? Особенно задело упоминание о Чумке – так называли в их городе рукотворную гору-насыпь, под которой были захоронены жертвы страшных эпидемий. Самой памятной и страшной оставалась чума 1812 года, от нее погиб каждый десятый житель города. Мама говорила, что трупы туда свозили на подводах, стаскивали крюками, наверное, одежда мертвых была и рваной, и разлохмаченной. И что же, и она такая? Где ей было знать тогда, что в школьный сленг врывались новые понятия уничижительного свойства. Ими как бы растаптывали, размазывали, топили в липкой грязи былую гордость и честь многознаек. В конце концов, синонимом к лохушке предстанет не столько неаккуратная лохматка, сколько дурочка, пень-дубина и, в общем, идиотка. А в Настинем исполнении получалось, что от чумной заразы погибали только дураки да болваны...

А что с умными? В новом времени они учились жить по-новому. Наступательно-развязно, с кулаками наперевес, и отпугивая старших полутюремным говорком. Если б кто-то предложил исполнить «Комсомольцев-добровольцев», еще недавно столь любимых мамами и бабушками, на их головы непременно скатились бы не самые изящные слова. Фразочка «Что будет, если в унитаз поезда бросить лом?» становилась расхожей повседневной хохмой. Откуда было знать Валерии, что еще через десять лет это и ему подобные высказывания будут растиражированы в Интернете как «формула молодежного мышления»?

Однажды, перемещаясь по квартире, она услышала тихий разговор родителей:

– Миша, я всегда любила в тебе штурмана и капитана. Ты был вожаком и впередсмотрящим. Что ж ты так?

– Не могу, Оля, не могу и не могу...

– Многие «не могут», но вот могут же.

– Оля, но выбили же землю из-под ног. Под либерийским флагом я не капитан, а...

– А кто, Миша, кто?

– А никто, бумага в немытом сортире...

Его плечи были опущены, бывший капитан большой страны тосковал. Так и не смог найти себе места в обновленном пространстве больших морей. На барахолке выискал Богородский нож-резак и стамески, принес и сложил на балконе деревянные чурбачки. Резал по дереву. Лера понимала – чтоб делом занять хотя бы руки. Занимал – и диковинные птицы, звери обретали свою жизнь. Потом наступило время чаек и парусников в полной оснастке. Потом все откладывалось, и отец уходил в запой. Мама приводила его в дом и гнала Леру в ее комнату. Утром звонила его друзьям-морякам, совещалась и просила-просила-просила. Наконец отца устроили старшим помощником капитана на очень старый сухогруз. Его непосредственным начальником оказался малайзиец из Куала-Лумпура, и они с трудом понимали друг друга. Их судно остановили пираты у берегов Сомали. Так как команду долго держали на палящем солнце, отец упал и больше не встал – сердце. Гроб с останками передали через полгода. Во время тризны кто-то из бывшей команды моряков сказал: «Нашего капитана убило это проклятое время». Лера удивилась, но запомнила. Она держалась рядом с мамой, и было ей тогда шестнадцать лет.

* * *

Вадима иногда награждали кличкой Плюмбум. Он знал и, кажется, понимал киношного героя Абдрашитова. Но не любил – Вадим рано понял, что настырность и развязность в любом деле могут обернуться бедой. Но было в нем нечто от этого самого *Plumbum*'а, было. Наверное, демонстративная независимость суждений и желание поступать только по-своему. Хотелось справедливости, но с детства ему мешало нечто, которое Вадим считал в себе женским началом. Выглянув ранним утром в окно, он видел восход и радовался ему. Заплывая далеко за волнорез, он чувствовал себя каплей большого водного пространства. Он, кажется, понимал тех профессиональных ныряльщиков,

которые, погружаясь все глубже и глубже в морскую пучину, однажды просто выпускали из рук трос-путеводитель. И оставались навсегда частицей манящего океана. Вечного и непознаваемого.

Прежняя Лерка-Ромашке-Больно, а теперь незнакомая Валерия засела в мозгу. Он твердо решил познакомиться с ней заново.

– Привет, Валерия, может, познакомимся еще раз?

– Привет, Вадик, что это ты?

– А ничего, общий детсад вспомнил.

– Что ж так поздно вспомнил, мы уже выросли...

Тянулась пауза, они шли и шли дальше. Вадима пробирала дрожь, хотелось прикоснуться то ли к ее платью, то ли к ней самой. Слова куда-то усаkali, и он вспомнил самое расхожее:

– Давай портфель понесу...

Она неловко оглянулась:

– Да брось, Вадька, мы уже почти не школьники.

Хотелось закричать: «А кто же мы?» – но перехватывало горло, и была в ее голосе какая-то загадочная взрослость, еще не знакомая Вадиму.

В другой раз он начал с налету:

– Пойдем в кино, Лера-Валера...

– Не хочется, там теперь какую-то ерунду показывают...

– Да, – согласился Вадим, – полная чушь. Но эротики много, – смелел он.

Сказал и спохватился. Потому что она приостановилась и приотвернулась. А он вдруг заметил, как под пушистым завитком краснеет то ли щека, то ли скула. «Ну да, – мелькнуло в голове, – ромашке больно...»

Нет, она не была пресно застенчивой и несовременной. Просто юная, тоненькая и начитанная. Но такая, которая не собирается взлетать повыше и, так и быть, дарить себя миру. Просто живет своей жизнью и никого туда не приглашает. Потому что, повзрослев, знает то, чего еще совсем не знает Вадим? Или все же просто застенчива? Рядом с ней у Вадьки просыпалась нежность (надо же...). Он любил ее слушать. А она доверчиво рассказывала. О прочитанном. Об увиденном и понятном. О том, что хотела бы собаку колли, да где держать, да чем кормить, да как ухаживать, когда в доме не так сытно и тепло, как хотелось бы. Нет, она

не жаловалась, просто констатировала факт. Не ошибаясь, называла марки встреченных машин, потому что отец всегда бредил ими, но алчного блеска всех жаждущих шуб-машин-денег в ее глазах Вадька так и не заметил.

В теплом мае, когда море запахло топленным молоком, их притянуло и бросило друг к дружке. Обоих и сразу. Они целовались-целовались и целовались. Между морем и какими-то кустами-деревьями. Она доверилась тоненькому дереву и прислонилась к нему спиной, а Вадим обнимал их обоих, и казалось ему, что эта девичья гибкость и тонкая стать входит в него и остается с ним. Руки не чувствовали корявости их общих одежд, казалось, он обнимает всех и вся, и земля сейчас, вот сейчас соединится с небом. Серо-фиолетовые сумерки постепенно покрывали их головы, их дрожащие тела и падали к их ногам. Пахло молодой травой и началом всех начал.

Первым опомнился он и, откачнувшись, пошел к богом забытому камню, на который попытался сесть. Потом подошла она, и они долго сначала стояли, а потом сидели рядом. Наконец, почувствовав, что им обоим становится холодно, Вадим притянул Леру к себе и поцеловал ее волосы. Каштановые, чуть вьющиеся и такие красивые даже в темноте... Какими-то тропами, которых не знали сроду, они долго взбирались к верхней дороге, долго стояли на остановке трамвая, и это просто стояние тоже было праздником.

Уже дома, в ванной «отмывая свое геройство», Вадим из вихря слов успел собрать и склеить только одну фразу: «Надо же...».

* * *

Мама посмотрела на Валерию с любопытством, чуть насмешливо и горько. Тогда Лера еще не знала: потеряв мужа и сказав себе в сорок два: «Жизнь кончена», – женщины видят молодые чувства именно так. Чуть завидуя, но и со скепсисом.

- Целовались...
- Целовались.
- Радуюешься?
- Да, мама.

И тут же:

– Можно я пойду в свою комнату?

– Иди, детка. Только сначала – пижаму, полотенце и в ванную.

И вдогонку:

– Дочь, будь поумней, не переступай черту.

Ольга (мама юной Валерии), нахохлившись, привычно сидела на кухне. На специально навешенной полке – парусник, сотворенный руками мужа, и выводок совушек-сов. «Целая семья, смотри, Оля», – когда-то сказал он. Она тогда пришла, раздавленная «рабочей сменой» на толкучке, а он хотел ее порадовать. А еще на плите в кастрюле был суп. Постный, но он же был. А она, глупая, только и спросила: «А хлеб есть? А кроме супа – что?». Наверное, в ту минуту она подумала о Лере – ей бы мяса. И упустила, и не вдохнула воздух счастья. Да, в плохое время выпало жить, но Миша был рядом. Ее страдалец-муж. С которым она когда-то целовалась. Спихватилась: «Что сказать Лере? Вы еще дети, хоть и выпускники школы. А в жизни будет столько всего?.. О Господи, и как же это ей сказать?».

Вадим старался держать себя по-взрослому и спокойно. За столом разговаривал с отцом, который все назидал и назидал:

– Теперь, Димка, настало время лидеров, а не работяг. Надо стремиться и уметь себя показать.

– Всем, что ли? Зачем?

– Не пустяшничай и не юродствуй, если бы я вовремя не сообразил, толкался бы с тачкой-«кравчучкой» в Польшу-Турцию и обратно.

– Ну и что, многим пришлось хлебнуть постперестроечного счастья.

– Многим, да не всем. Мне – не пришлось.

– Ничего. Выучусь, тоже делом займусь.

– Вот-вот, только хорошенько подумай, чему учиться пойдешь.

– Соизвольте отруководить: в экономисты или в милицейские начальники?

– Дам по лбу, – начинал яриться отец.

И где было знать ему, что выбор взрослого пути сейчас казался Вадиму тем самым горизонтом, до которого семь верст шагать,

да еще и дырявой ложкой киселя хлебать. В его мире жила, дышала и лучезарила зеленью глаз девушка с редким именем Ромашке-Больно. Вот доживем до выпускного, а там и подумаем.

Уловив Вадькину отрешенность, подошла бабушка.

– По-моему, внук, пришла пора прочесть тебе это... – и, не желая вступать в споры, потопала к себе.

Вадим нехотя потянулся к оставленному тому. Бунин. В содержании помечен рассказ «Натали». «Француженка, что ли? Только и осталось – познавать французскую жизнь позапрошлого века. Да еще в раскладе нецелованных барышень. Или целованных?» Он отодвинул книжку подальше от себя и постарался углубиться в ненавистную физику. До экзамена – рукой подать.

Он вернулся к этой книжке через несколько дней и вполне случайно – она свалилась со стола от неловкого движения. Поднял. Обследовал, не отлетел ли корешок. Хлипенько, но держится. Ну, и раскрыл эту самую «Натали». Читал сперва нехотя, потом – не отрываясь. С пульсирующей кровью в висках. С ознобливым жаром во всем теле. С одним желанием сотворить что-то вон выходящее. Казалось, этот неизвестный ему Бунин знал о юноше – молодом мужчине все. Как стучатся во все двери гормоны и требуют свое. Как боязно, тревожно и сладко обнимать женское тело, томиться и, в конце концов, властвовать над ним. Как, запершись в дальней комнате, хочется рассматривать и трогать то, что еще недавно было простым довеском к телу.

Но! Но, упав ничком на диван и плотно закрыв глаза, он вдруг понял, ради чего был написан этот рассказ из русской, а не из французской жизни. Есть другие чувства, и в них тела и телесность (словцо-то, словцо...) вторые, а не первые. Вот он, момент откровения: его, Вадима, ровесник, только что поступивший в университет, смотрит на вчера еще гимназистку Наташу в простеньком летнем платье. Видит, как сквозь холстинку рукава просвечивает ее тонкая рука. Чувствует, как солнечный свет пробивается сквозь ткань и согревает ее. Робея, не может и предположить, что, набравшись дерзости и отваги, он может прикоснуться к ней (к руке, только к руке) губами. И кажется, целый мир уносится куда-то. С ним и с нею. Вот тебе и «ромашке больно», вот тебе и форменное платье с пояском. Вот тебе и следок от ее ноги

на мокром песке. Господи, неужели об этом давным-давно знали и только теперь подзабыли? «Натали, какой удивительный цвет волос у вас...» Удивительный!..

* * *

На выпускном жаждали продемонстрировать все на свете и кто во что горазд. Чувствовалось, что разгуляю хватит сил на всю ночь. Краем уха Вадим слышал разговоры девчонок-одноклассниц о «двух платьях». В одном – за аттестатом на сцену, во втором – на бал. Он подивился: что ж, и ему два костюма заказывать?

Последний экзамен они сдавали с Лерой одновременно. Только в разных классах. Дождавшись ее, бледно-вымученную и похожую на взъерошенного воробья, предложил пойти к морю. Поехали, потом пошли. Он, закатав штанины, и она, приподняв юбочку над коленями, долго бродили по мелководью и благословляли прохладу, подаренную морским бризом. Взобрались на довольно высокий камень, торчавший из воды. Прислонившись к щербатой его стенке, долго смотрели в предвечернее далеко. Он вдруг спросил: «А в каком платье ты будешь на выпускном?». Она чуть вздрогнула, помолчала, а потом сказала: «Увидишь...».

– Лерка, ты любишь тайны?

– Нет, Вадим, тайны – это детские забавы, мне не до них...

В ее сине-зеленых глазах мелькнуло что-то, и он, стремясь приглубить и защитить ее, вдруг бухнул: «Пойдешь за меня, Валера?». Она засмеялась: «Ох, Вадимка, детский сад от тебя недалеко уехал». И добавила как-то очень серьезно: «Если это и случится, то не скоро, Вадим. А сейчас – надо жить...». Через паузу предложила: «Пойдем домой. Нас ждут не дождутся...».

Они шли, и мокрым тяжелым парусом между ними провисла какая-то неудобная недосказанность.

